

Цыганская кибитка

Степь да степь,
да вокруг,
как побитая молью открытка,
в травах, выжженных солнцем,
курганы, дорога да пыль,
сивый мерин хромой
одинокую катит кибитку,
в колею приминая
склонённый к дороге ковыль.

За шальную судьбу
в безоглядной по возрасту страсти
только юность спешит
задушевную волю отдать
за иллюзию снов,
за цыганское дикое счастье
горе мыкать шутя
и отчаянье песней встречать.

Отгуляй, огневой
забубённой судьбой понатешься,
отцыгань допьяна,
но меня за собой не зови,
даже речь не о том,
что печалюсь всё реже и реже
о пропащей моей,
о беспечно отпетой любви.

Мне высокие травы
не стелят постель у дороги,
я от юной смуглянки
ни сердца не жду, ни руки,
и чужой, мне казалось бы,
скрипки напев одинокий
как беспамятный крик
невозможно щемящей тоски.

Так порою я вижу

чужое обидное горе,
так порою я радуюсь счастьем,
какого не знал,
а вокруг только степь за порогом,
да небо, да море
за беспутную жизнь,
за которую всё проиграл.

Только море, в котором
ни паруса в белом тумане,
ни цепочки следов
на прибрежном прохладном песке,
ни младенческих снов,
где в отраду обман на обмане
и ни в небе уже журавля,
ни синицы в руке.

Только степь, да вокруг,
как побитая молью открытка,
в травах, выжженных солнцем,
курганы, дорога да пыль,
сивый мерин хромой
одинокую катит кибитку,
в колею приминая
склонённый к дороге ковыль.

Не бряцают мониста,
не дразнят под шалью улыбки,
словно вымерла степь,
только солнце нещадно палит,
только ветер поёт
на забытой рассохшейся скрипке,
да подковы стучат да колёса,
да сбруя звенит.

Ну и что же, и что,
что я в этой кибитке и не был,
и не мне похваляться
цыганскою вольной судьбой,
я цыганским шатром

почитаю высокое небо,
несказанную синь
над шальнойю моей головой.

Не моё, не моё
зненом выжжено дочерна тело,
не меня на коне
бог цыганский из кремня слепил,
и на вольных ветрах
не моя голова поседела
под лихие напевы
чужой бессарабской степи.

Отчего же тогда
так заходится трезвое сердце
от чужого напева
с чужой невозможной судьбой,
и чужая кибитка
не брата, не единовеца,
пропадая вдали,
всё зовёт и зовёт за собой.

Вот за то и молюсь,
чтобы было куда оглянуться,
и не по суеверию,
не по святым житиям,
оглянуться впотьмах,
чтобы к тайне ещё прикоснуться
и вернуть её сердцу созвучно
из небытия.

Вот за то и молюсь,
как на самого древнего бога,
всемогущей природе
привычной во веки веков,
как родное своё,
за её бесконечность в дорогах,
за открытые влажные губы
её родников,
за размеренную

мне единственным праздником
в целый
человеческий век
и отчаяннейшую
из тризн,
и за всё, что успел,
и за всё, что уже не успел в ней,
за все муки и счастье
с названьем единственным – Жизнь...

Так пускай и цыганские скрипки
своё отыграют
на высоких ветрах
по-над выжженной солнцем землёй,
и весна, и любовь,
и мечты, и восторг опаляют
и в невечных сердцах
остывают горячей золой.

И пусть кто-то считает
угрюмо, злорадно и трезво:
за какие бессмертные жизни
иссякнет тепло,
и зачем, никому не в упрёк,
но впотьмах, бесполезно
всё летит мотылёк
на свечу,
обжигая крыло.

Ленинград, 1982